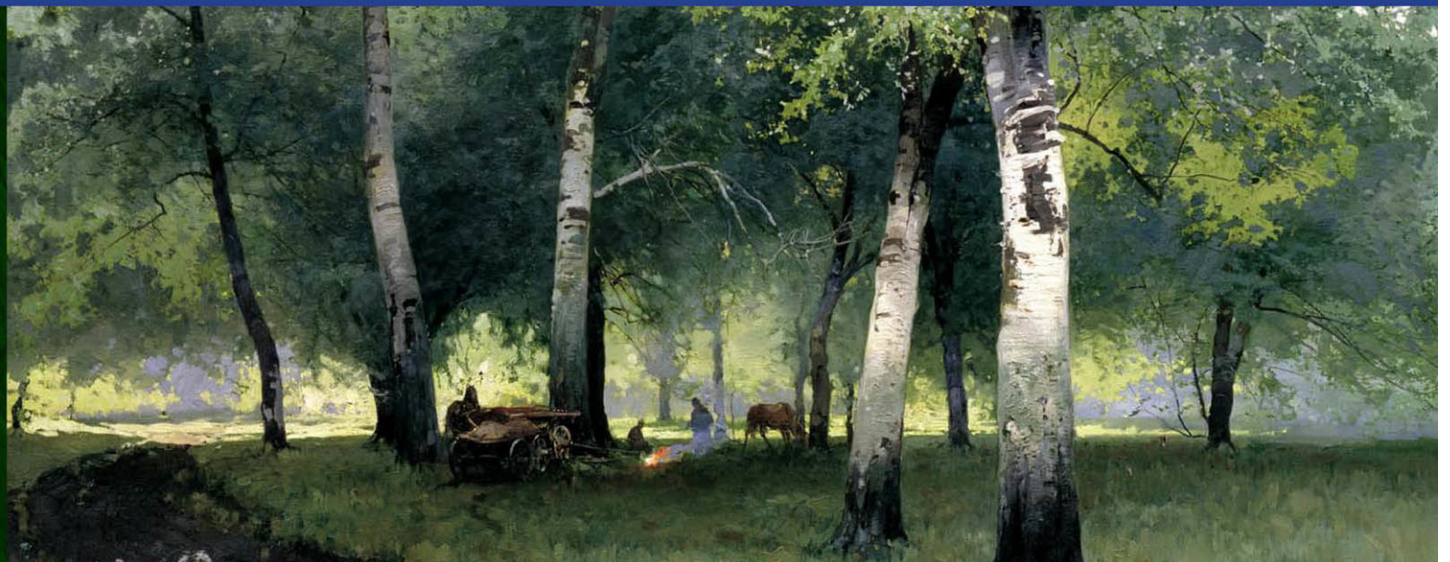


# Василь Быков

## Третья ракета

*ФТМ*



Василий БЫКОВ

**Третья ракета**

«ФТМ»

1961

## **Быков В. В.**

Третья ракета / В. В. Быков — «ФТМ», 1961

Я лежу в окопе на разостланной шинели и долго гляжу вверх, в синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо – ни взрыва, ни выстрела, все спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скрылось за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер. Одинокая былинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком чернозема, обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие, размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы, важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье...

© Быков В. В., 1961

© ФТМ, 1961

# Содержание

1	5
2	8
3	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# Василь Быков

## Третья ракета

### 1

Я лежу в окопе на разостланной шинели и долго гляжу вверх, в синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо – ни взрыва, ни выстрела, все спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скрылось за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер. Одинокая былинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком чернозема, обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие, размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы, важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье.

Аисты часто прилетают сюда в погожую предвечернюю пору и кружатся, наверно, высматривая какое-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто, по извечному обычаю, в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у приречных болот, на всех полях и дорогах – люди. Не успевают птицы сколько-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди, высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули, аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат.

Без аистов синее небо становится пустым и скучным, в нем не за что зацепиться взгляду, я прищуриваюсь и дремотно притихаю.

Вдруг на бруствере что-то резко шелкает, будто невидимый хлыст бьет по иссохшей пыльной земле, и я, вздрогнув, пробуждаюсь от сонливой задумчивости. В окопе по-прежнему тихо, все спят, только на ступеньках ерзает что-то Лешка Задорожный, наш заряжающий. Он в нижней рубашке с незавязанными и разметанными на широкой груди тесемками; голые до локтей, сплошь покрытые татуировкой руки его держат промасленную гимнастерку, на воротах которой болтается непришитый конец подворотничка. Лукавые Лешкины глаза на круглом бровастом лице часто мигают, как это бывает у провинившегося в чем-то человека.

– Собака! – неизвестно к кому обращаясь, говорит Лешка. – Я ж тебя подразню!

Он кладет на ступеньки гимнастерку с надраенным до блеска гвардейским значком и хватает стоящую рядом лопату. Я не успеваю еще сообразить, что к чему, как Лешка тихонько высовывает из-за бруствера точечный ее черенок.

«Чвик!» – и на бруствере вдребезги разлетается сухой ком земли.

Лешка вздрагивает, но, заметив, что я увидел его проделку, озорно улыбается и уже смелее высовывает из окопа лопату. Где-то в неприятельской стороне слышится выстрел, и одновременно новая пуля откалывает толстую щепку от лопаты.

– Не порть инструмент, – говорю я Лешке. – Нашел занятие!

– Не-ет! Уж я его подразню, собаку!..

Он снова выставляет лопату. В то же мгновение четко слышится: «чвик», «чвик», – и с бруствера брызжет земля.

– О, законно! Позлись, позлись! – довольно говорит Лешка.

Он хочет сказать и еще что-то, но не успевает раскрыть рта, как устоявшаяся вокруг тишина нарушается грохотом крупнокалиберного пулемета. Песок, комья земли и клочья кукурузы разлетаются с бруствера, сыплются на лица, головы, спины, спящих в окопе людей. Но очередь короткая, она вдруг утихает, и ветер медленно сдувает с бруствера пыль.

– Что это? Что за безобразие? – кричит из дальнего конца окопа наш командир, старший сержант Желтых.

Как и все, он спал, но, очевидно, командирское чутье подсказало ему, что кто-то провинился. Пригнувшись, без ремня, в расстегнутой гимнастерке, на которой позвякивает полдюжины медалей, он перелезает через спящие тела к Лешке.

– Тебе что, тесно в окопе? – со сдержанной злостью спрашивает он заряжающего.

Тот сидит внизу, присыпанный землей, и, обнажая свои красивые широкие зубы, нагло вато ухмыляется:

– Да вон Ганс! Чуть иголку из пальцев не вышиб, зараза!

– Иголку у него вышиб! Все баловство! Ты что, сосунок? Объяснить тебе, что к чему?

С минуту Желтых зло и неподвижно смотрит сверху вниз на Лешку. Однако тишина больше не нарушается, и старший сержант, успокаиваясь, начинает отряхивать с головы и усов песок. Потом он переводит все еще недовольный взгляд на нас – его подчиненных. Глаза у командира маленькие, неопределенного, будто вылинявшего, цвета, они остро смотрят из-под мохнатых строгих бровей: пожилое, синее, побитое порохом лицо его не предвещает добра.

– Чего разлегся? – вдруг босой ногой он толкает меня. – Не на курорте. А ну, марш наблюдать!

Я не торопясь поднимаюсь с шинели, в душе ругая Лешку за неуместную шутку, а командир стоит и хмуро оглядывает остальных.

– А ты, Одноухий! Нечего притворяться: вижу, не спишь! Подъем! – командует он снарядному Кривенку, который, надвинув пилотку на смуглое, перекошенное шрамом лицо, неподвижно лежит на дне окопа.

Но Кривенок не шевелится, и Желтых, наклонившись, дергает его за рукав.

– А ну, подъем!

Солдат нехотя раскрывает сердитые глаза.

– Не понукай! Не запряг!

– Что не запряг, подъем, говорю!

Кривенок лениво встает и, удобнее устраиваясь под стенкой окопа, ворчит:

– Порядочек! Не успеешь вздремнуть – подъем...

Желтых переводит взгляд в угол на остальных, но там уже будить никого не надо. Молчаливый и тощий, как жердь, Лукьянов тихо сидит на шинели, усердно хлопая глазами и делая вид, что давно уже проснулся. Как всегда, когда командир ругается, в синеватых глазах этого еще молодого, безвременно увядшего человека появляется молчаливая робкая покорность. Уголки его тонких губ вздрагивают, брови смыкаются – он явно не переносит грубости. Остальные давно уже привыкли к командирскому крику, и им хоть бы что. Уже деловито копошится на коленях наводчик – якут Попов. Он, видно, сразу догадывается, чем все кончится, и, не ожидая приказаний, вытаскивает из ниши ящик с недочищенными накануне снарядами. Вид у него несколько надутый, недовольно-заспанный, широкое скуластое лицо сосредоточенно, веки узких глаз припухли.

– Ну, а вы чего смотрите? – покрикивает Желтых на остальных. – Думаете, калач дам? Задорожный, Лукьянов, Кривенок, за работу!

Бойцы не спеша берутся за дело.

Кривенок, тяжело вздохнув, подступает к раскрытому ящику. Через всю его щеку, от рта до уха, ярко краснеет обезображивающий лицо шрам – недавний след минного осколка; на месте начисто срезанного уха лишь небольшое отверстие. Попов с Лукьяновым уже протирают ветошью снаряды. У Попова это получается сноровисто и ловко, натренированные его руки так и мелькают вдоль блестящих латунных гильз. Лукьянов же вял и медлителен, одной рукой поворачивает скользкий снаряд и неуверенно трет его тряпкой, брезгливо сжатой между двумя

пальцами; Кривенок пристраивается рядом. Только Задорожный, натянув на круглые плечи тесноватую гимнастерку, проходит по окопу мимо работающих.

– Ерунда! И втроем управятся!

Он садится в конец окопа и принимается за свое любимое занятие: сдвинув пониже, разминает на лодыжках кирзовые голенища новых сапог. Эти с особенным шиком пригнанные сапоги, коротенькая, подрезанная снизу гимнастерка, широченные суконные галифе цвета хаки, а также лихо сдвинутая на самое ухо пилотка заметно выделяют Лешку среди нас. Кажется, он чувствует в этом немалое свое превосходство над остальными, и потому с его подвижного лица не сходит беззаботная озорная улыбка.

Желтых, явно любясь в душе его нагло-щегольской независимостью, беззлобно ворчит про себя:

– Лодырь... Сачок... Ну, смотри мне, футболист!

## 2

Мы – «сорокапятчики». Еще нас называют ПТО (противотанковое орудие), чаще «пушкари», а то и «прощай, родина». Последнее обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира старшего сержанта Желтых, который воюет в батарее с сорок первого, и ничего – жив, здоров. Но, видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за три года, обновилась оружие и тактика, другими уже стали немецкие танки, появились «тигры», «пантеры», «фердинанды», а «сорокапятка» у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порою нам бывает не сладко.

Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лешка, и осторожно высовываю из-за бруствера острый кончик «перископа-разведчика». В маленьком его глазке отражается хорошо знакомая местность – не запаханное с весны, заросшее лебедой и пыреем поле, изрезанное серыми гривами окопов и ходов сообщений. За ними на нейтралке едва заметна в траве извилина пересохшего ручья, возле него ржавеет закопченный, с настезь открытыми люками танк. Дальше горбятся неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них, нам уж не видно, зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади – узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим упирается в недалекую тыловую деревню. (От деревни, правда, осталось одно название. После недавних боев на месте ее мазанок высятся груды глины, торчат вывороченные обгоревшие бревна, и зарастают травой подворья, на которых бродят голодные кошки. Жители ее ушли куда-то на север.) Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пушчонку, возле которой вырыт небольшой, в пять шагов, окоп-ровик.

Старший сержант, однако, у нас не злопамятен и вскоре успокаивается. Свернув сигарку почти с крупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы сизого пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтых иногда вечером приносит килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждает Задорожный, чтобы накуриться нашему командиру, надо свернуть сигарку размером чуть ли не с гаубичный ствол.

– Слушай, Лукьянов, – хитро поглядывая сквозь дым, говорит Желтых. – Ты не парикмахером до войны был?

– Нет, – грустно отвечает Лукьянов. – Я в архитектурном учился.

– А-а... А я думал, парикмахером. Уж очень ты деликатно тряпку держишь, – говорит Желтых и вдруг прикрикивает: – А ну, три сильнее! Не разорвется, не бойся!

Лукьянов смущенно прикусывает губу и начинает тереть быстрее, но смазанный снаряд выскользывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке.

– Ну вот, разиня! – машет рукой Желтых. – Тоже мне архитектор... Иди сюда, другую работу дам.

Солдат вытирает снаряд, потом о подол гимнастерки – руки, а Желтых расстегивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую карточку ПТО.

– Вот что... На, нарисуй как следует. А то приходят, спрашивают, почему неаккуратная. В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет грамотеев: футболист, архитектор, учитель вон, – не забывает он намекнуть и на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. – Только лодыри все: лишь бы дрыхнуть.

Лукьянов заметно оживляется: новая работа ему по душе. Поджав под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движения его тонких пальцев обретают уверенность, лицо проясняется, только в уголках бледных губ все еще

таится тихая скорбь. Желтых сидит напротив и с затаенным любопытством следит за движениями его карандаша.

– Вот тут, вижу, ты мастер. И куст как раз двойной, будто спаренный... И танк – вылитый «тигр». Хорошо.

Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка: ничего особенного, обыкновенный чертеж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить. Хоть он и командует расчетом, но образование у него, кажется, не то два, не то три класса, и мы никогда не видели, чтобы Желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчета (именной список, карточку ПТО, отчет по снарядам), ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову, Попову или мне, а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный – испытанный авторитет по части разных наук. Даже Задорожный, который вообще не признает никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин, сколько лет Большому театру в Москве, кому перед войной проиграл московский «Спартак» или кто такая Мария Стюарт. Лукьянов обычно сдержанно выслушает вопрос, потом, вздохнув, коротко ответит, но всем нам ясно, что знает он еще множество куда более значительных и сложных вещей.

На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен, многое пережил и теперь какой-то надломленный, обиженный, но, кажется, неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало.

Куда понятнее нам Лешка Задорожный, хитрец, лежебока и ловкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а все треплется да охорашивает себя. Но Задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. Правда, он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь, и тогда больше всех перепадает тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный, к кому Лешка относится с некоторым уважением (после командира, конечно), – это якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нем следует сказать отдельно.

Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик. Все наши неудачи происходили по разным причинам, но все успехи – подбитые в последних боях два танка, сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы – дело ловких рук и зорких глаз Попова. Глаза у него действительно очень зоркие, других таких на батарее нет. Такие же особенные у него пальцы – ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он все время мастерит что-нибудь: то футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звездочкой. И все у него выходит настолько добротнo и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен, даже въедлив в мелочах, особенно когда ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас и себя, и мы злимся в душе на такую его чрезмерную усердность.

Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит Попова, а чаще всего меня, или Лукьянова, либо Лешку, если, конечно, тот не отговорится.

Вот так и живем мы, небольшой орудийный расчет, шесть человек, валяемся долгие дни в узком окопе-ровике и с нетерпением ждем вечера с его несколько иными, чем днем, заботами.

### 3

Прежде всего: голод – не тетка.

К вечеру мы все так голодны, что не помогают ни курево, ни увесистые головы подсолнуха с мягкими, еще не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга – каша, которую, поев, мы все дружно охаиваем, – кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб – черствый, колючий, пополам с кукурузной мукой. Вот и теперь в нише, на верхнем снаряжном ящике, лежит высохший остаток чьей-то недоеденной пайки и каждый из нас время от времени поглядывает туда. Первым, конечно, не выдерживает Лукьянов. Перестав на минуту чертить, он испачканными пальцами как-то стыдливо тянется к хлебу и, не глядя ни на кого, спрашивает:

– Никто пожевать не хочет?

Коротко взглянув на него, мы все молчим.

– Так я съем, – тихо говорит Лукьянов.

И он жует этот кусок, с усилием двигая челюстями под тонкой кожей худых щек, а мы глотаем слюну и отводим взгляды в сторону.

Лукьянов только недавно вылез из-под шинели – дважды в день, утром и вечером, его трясет малярия, и только к ночи он немного приходит в себя. Мы прощаем Лукьянову несдержанность, понимая, что в плену ему пришлось хлебнуть горя. Хлеб он съедает до последней крошки и поглядывает на небо, еще полное золотистого отсвета заходящего солнца. На стене же окопа и на бруствере уже нет ни одного лучика – все внизу застлано тенью. Откуда-то тянет прохладой, медленно наступает вечер.

Все мы нетерпеливо ждем того часа, когда на землю опустится ночь. Ждет его и Желтых – ночью он ходит к начальству или в пехоту, где у него много друзей и знакомых, ведь старший сержант – ветеран полка. Ждет вечера и Попов. Сразу, как только стемнеет, он вылезает из окопа и начинает хлопотать возле пушки – протирает запыленный казенник, прицел, вытряхивает чехлы и обновляет маскировку. Лешка вечером, словно молодой медведь, валяется на траве или бродит возле огневой в поисках мелких приключений. При удобном случае он не преминет улизнуть в деревню, где ему удастся иногда раздобыть вина и закуски. Лукьянов, как только приносят ужин, наедается и тихонько пристраивается подле окопа, уйдя в свои затаенные думы. Я тоже жду того часа, когда можно посидеть в тишине на бруствере и вслушаться в ночь, всегда полную далеких и близких, явных и загадочных звуков. Но в их бесконечном множестве я стараюсь уловить шаги – легкое шуршание по знакомой тыловой тропке. Я жду их долгие, мучительные сутки, жду, сам не зная почему, наперекор своей воле...

Между тем быстро темнеет. Вечер гасит в небе золотисто-опаловый свет, с востока наплывает и ширится глухая синевато-сизая тень, окоп погружается в сумерки. В снаряжной нише и под палаткой, которой накрыт дальний конец нашего убежища, уже ничего не видно, значит, пора вылезать. Желтых, став на колени, подпоясывается широким румынским ремнем со множеством дырочек, небрежно одергивает гимнастерку и глуховато командует:

– А ну, собирайся за ужином! Пойдут сегодня... – На момент он замолкает, оглядывая нас. – Пойдет Лукьянов и...

Желтых секунду раздумывает, кого назначить вторым, но рядом вскакивает Лешка:

– И я, командир!

– Чего это ты такой быстрый? – удивляется старший сержант.

Лешка горделиво выпячивает крутую широкую грудь, большими пальцами ловко сдвигает под пряжкой сборки: воротник его франтовато расстегнут и белеет свежей полоской марли.

– Нужно, – улыбается Лешка и подмигивает одним глазом.

– А-а, – догадывается Желтых. – Известно... Ну что ж, дело молодое. Не то что нам, старикам...

«Черт бы его взял, этого хвата Лешку, – думаю я, – всегда он первый». Сегодня на батальонной кухне дежурит Люся, санинструктор, младший сержант медицинской службы – та самая наша Синеглазка, которую так жду и я и которую первым увидит Лешка. Сразу становится скучным весь этот долгожданный вечер, не радует и предстоящий ужин.

– А что же, законно! – повторяет Лешка свое любимое словцо и, бесцеремонно расталкивая нас, пробирается к выходу.

Мы вылезаем из окопа. Сумерки уже плотно застлали землю, вблизи еще видны кукурузные кучки и кое-где черные глазницы воронок, но вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато-сумеречном тумане, и в небе загораются первые одинокие звезды. Удивительно, как хорошо тут – привольно и широко, как много воздуха! И я думаю, как мало надо человеку, чтобы почувствовать незамысловатую прелесть жизни, коротенькую, на несколько минут, радость. Потом эта радость исчезнет, человек слишком быстро привыкает к хорошему и перестает ощущать его.

Пехота тоже задвигалась. Кто-то зовет какого-то Солода, в сумерках бряцает оружие, слышится приглушенный топот ног. Собрав котелки, Задорожный с Лукьяновым уходят по тропке к полоске подсолнуха в тыл.

Скоро ужин. Я ложусь на закиданный кукурузой бруствер и гляжу вверх. В высоком и еще прозрачном небе горят россыпи звезд, но их как-то мало, совсем не то что зимой. Широко и раздольно поблескивает ковш Большой Медведицы. По давней школьной привычке я провожу от его края прямую и нахожу Полярную в хвосте Малой Медведицы. Там, далеко на севере, в стороне от отрогов Карпат, что в погожий день синеватой дымкой выступают на горизонте, лежит мой край, моя истерзанная Беларусь. Скоро исполнится год, как я оставил ее. Беспо мощного, спеленатого бинтами, с перебитым бедром, самолет перенес меня в тыл, добрые люди выходили, я снова веял в руки оружие, но там остались мои земляки, мои старенькие родители, остались в лесах партизаны родного отряда «Мститель». Я не попал к ним обратно – военная судьба забросила меня на фланг огромного фронта в Румынию; но – что поделаешь – моя душа там, в далекой лесной стороне. Как аист, кружит она над ее полями, перелесками, большими и малыми дорогами, над соломенными стрехами ее деревень. Днем и ночью стоят перед моими глазами синеекие озера нашего края, шумливые дремучие боры, полные всякого зверья и птиц, поживы в ягодную летнюю и осеннюю грибную пору, столь памятные загадочными детскими страхами. Но то было давно, в полузабытое и непостижимо беззаботное время, когда на земле был мир. Теперь все изменилось. Теперь в черной тоске молчат деревеньки, пустуют поля, а на западе над борами еще катится голосистое эхо партизанских боев. Другой, суровой и бес покойной жизнью живет теперь моя Беларусь, непокоренная, героическая, славная многотрудными делами тысяч своих сражающихся и павших сынов. И я всегда ношу в себе молчаливую гордость за них, скромных моих земляков, и знаю, что я в большом неоплатном долгу перед моей землей и моим многострадальным народом. Но я только солдат, – видимо, час не пробил еще, и я жду, терпеливо и долго.

Рядом на жесткие стебли маскировки опускается Кривенок. Он не ложится, как я, а молча сидит и вглядывается в ночь. Мне снизу хорошо видна его настороженная и какая-то четко-нервная худая фигура; голова у Кривенка большая, лобастая, пилотка надета поперек. Парень он с норовом, молчун и, как говорит Лешка, совершенно без чувства юмора, поэтому они принципиальные противники. Меня также не очень располагает его характер, но мы тут самые молодые с ним, что невольно и без слов дружески связывает нас. И еще: с самого начала войны наши сердца глухи к слову «почта». Мы не бросаемся, как все, к солдату, который приносит из штаба письма, никто никогда не прислал нам ни одного треугольника. Мои родители в оккупации, у Кривенка их нет совсем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.